

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

Рассказ

Болезнь желудка.

Кажется, он болен всегда.

Кажется, он будет болеть всегда.

Дудки. Прорвемся.

Нескончаемая ноющая боль изматывает. Ведь это не просто тупой кол в брюхе, это еще и сигнал: внутри тебя чужой, враждебный, неумолимый. Надо срочно что-то делать! А ничего сделать нельзя.

Боль можно превозмогать, но к ней нельзя привыкнуть. Это как с толерантностью, которая терпимость. Терпеть можно долго, мужественно, приветливо, с улыбкой на устах, но на самом-то деле пока терпишь что-то одно, уже не в силах по-настоящему радоваться ничему другому. Нарастает раздражение, и если не можешь претворить его в отпор, начинаешь раздражаться на что-нибудь совсем невиноватое, расположенное поодаль и сбоку.

Например, на давно умершую последнюю жену, которая так и не научилась не пережаривать котлеты.

Как, впрочем, и предыдущая.

А ведь сколько раз им было говорено. И лаской, и таской...

Ох, ладно.

Например, на всю собственную жизнь.

Но так нельзя. Жизнь я прожил достойную.

Почему, собственно, прожил? Я еще живу!

Я живу достойно, другим бы так. И буду жить впредь, не меняясь. Не изменяя себе. По совести. Не по лжи. Честно. Смело. Вечно.

Надо почаще себе это повторять. Как молитву. Это же физзарядка души, чтоб не захирела и не сникла. Аутотренинг.

Какой-нибудь упертый христианин сразу вспомнил бы тут евангельскую притчу. Дескать, «два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но это же чушь. Компенсаторные выдумки неудачников, которым ничего не остается, кроме как уповать, что кто-то большой

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт-Петербурге.

и верхний их почему-то за их неудачи оправдает. Зависть к тем, кто умеет и добивается. Просто зависть.

О какой ерунде я думаю, однако... Тех, кто несет по кочкам религию, и без меня хватает.

Я решительно схлопнул мембрану окна. Нет там никакого свежего воздуха.

От кондея несло ледяной духотой и словно бы машинным маслом. Или не маслом... Все равно, чем-то ненастоящим, мертвенным. А снаружи — хлесткая морось, порывистый ветер со всех сторон, плюгавые кусты обреченно скачут на одном месте, размахивая блестящими ветками, и дальние деревья метут распухшее от серой воды небо.

Климат совсем охренел.

Рост мировой экономики, без которого немислима социальная стабильность, требует непрерывного роста потребления, и хоть тресни. Неспроста рекламы навязывают такой образ жизни, что на зарплату хрен потянешь. И вот итог: в начале века пятно мусора в Тихом океане было, как говорили, со штат Техас. Теперь с Австралию. И вдобавок его подкипичивает Эль-Ниньо. От Аляски до Тасмании в воде формальдегид от миллиардов медленно плавящихся в горячих струях пластиковых бутылок. Про Атлантику и ее моря и говорить не остается. Жрать осталось одно ГМО. Лидеры «зеленых» заняли достойные места среди мировой финансовой элиты, остальные кусают локти от того, что не сориентировались вовремя и воображали, будто и впрямь спасают мир.

Болит. Жалобно и безнадежно.

Стоишь — болит. Сядешь... Кресло мягкое, удобное, свет светит идеально, но читать ничего не хочется. И смотреть ничего не хочется. Ведь все равно болит.

Поначалу я пробовал спасаться тем, что менял позы. Дудки. Ляжешь — болит, и на боку болит, и на животе. В молодости не было положения удобней, чем лечь на живот, обнять подушку... Потом стали затекать руки. Сосуды... Я тогда еще удивлялся. Еще умел удивляться недомоганию. Как же так: всегда было хорошо, и вдруг то же самое — и почему-то плохо. А теперь...

Вон по ту сторону открытой двери в спальню — постель. Благодатная, эффектная. По последнему слову. И подушки. Супер.

А за стеной — бассейн с прозрачной, как хрусталь, голубой водой.

А что толку?

Если у тебя под носом постоянно маячит то, что сулит удовольствие, но самого удовольствия нет, стало быть, это все — ненастоящее. Одна видимость. Взять нельзя, словно вместо женщины подсовывают статую. Но если все настоящее, а взять все равно нельзя — значит, это я сам ненастоящий? Так, что ли?

Какая чушь...

Нельзя раскисать. Важный разговор на носу.

Надо усвоить: дареному коню в зубы не смотрят.

В старину говорили: здоровье не купишь. Как бы не так. Первобытные времена. Теперь, что греха таить, здоровье только и может быть покупным. И даже бессмертие, если оно не приобретено самостоятельно за деньги, а получено как грант, в рамках благотворительной программы по сохранению культурного наследия, не может не оказаться эконоом-класса.

Поначалу открытие вызвало эйфорический шок. Только отпетые мракобесы принялись было гундосить о том, что вечная жизнь в мире сем — это отказ от царствия небесного и воскресения телесного... Или, например, от нирваны. Перед лицом возникшей перспективы никогда не достаться червякам балаболов, разумеется, никто не

слушал. Били, бывало. И поделом. Их заезженные, стершиеся об углы веков разглагольствования воспринимались теперь как издевательство.

Быстро выяснилось: многоэтапные процедуры столь дороги, что подавляющее большинство человечества о подобных проблемах вообще может не беспокоиться, им так и этак не светит. Попы умолкли. Но мало кого из этого большинства такое успокоило. Наоборот. Оборотистые жулики сколачивали миллиарды, торгуя из-под полы якобы полноценными стартовыми пакетами: сделай себя бессмертным сам, не выходя из дома! Подпольные салоны «Стань вечным» или «Будущее для всех» полиция брала штурмом, с пальбой, с трупами виновных и невинных — но на месте одного вырастали уже назавтра десять. В подворотнях людей без колебаний резали за гроши, а на судах здоровенные бугаи размазывали мутные слезы по щекам в надежде разжалобить присяжных и, старательно булькая соплями, лепетали: я собирал для мамочки денег на бессмертие, она болеет очень. Потом, бывало, выяснялось, что мамочка-то давно померла, и не просто так, а от сыновних побоев... Из небытия и безвестности пулями взлетали политики, обещавшие сделать иммортализацию обязательной и бесплатной; но, безоговорочно выигрывая любые выборы и добираясь до возделенных вершин, они убеждались, что их оппоненты были правы, что денег на такую социалку взять неоткуда, разве что всю власть в мире пришлось бы отдать северокорейским коммунистам с их нищей уравниловкой, и принимались скромненько и бодренько заботиться о том, как за период полномочий обеспечить обещанные избирателям блага хотя бы себе.

Да и впрямь: стань бессмертными все — куда было бы девать и чем кормить эту-кую прорву народу?

Потом, как и следовало ожидать, оказалось, что больше всего проблем как раз у тех, кому бессмертие по карману.

Потому что у них есть, что наследовать. Очень даже есть что. И есть кому.

По планете покатались волны загадочных громких смертей. От континента к континенту, не обращая внимания на границы, цивилизационные особенности и культурные различия. Безвременная смерть престарелого богатея оказалась абсолютно общечеловеческой ценностью. Утонул в ванной... сгорел в личном самолете... разбился на скользкой дороге... пропал в лесу во время охоты... В общем, грибков наемдни поел и преставился.

Через некоторое время престарелые воротилы опомнились. Никто не хотел умирать. Бессмертные — в особенности.

Пошли процессы. Приговоры были чудовищными. Поначалу они воспринимались избалованным от гуманизма человечеством как возвращение средневековой жестокости. Саудиты, бывшие согласно всем международным рейтингам самой демократической страной арабского мира, с удовольствием вернулись к четвертованиям, колесованиям и сажанию на кол. И так и остались, кстати, самыми демократичными. Американцы хладнокровно продолжали свои вполне гигиеничные уколы, но почему-то раз за разом препараты для смертельных инъекций стали оказываться просроченными или некачественными, так что казнимые, колотясь в судорогах внутри фиксирующих ремней, заходясь воплями, утопая в собственных нечистотах, помирали сутками, а то и дольше. Европейцы перестали ставить в одиночные камеры игровые приставки и отрубали там Интернет. Наши тоже не отставали — на свой простецкий, московитский манер... Хозяева денег давали своей молодежи наглядный окорот, иначе было просто нельзя. Ведь страшно стало жить.

Убийства сделались редкостью, но прогресс не остановишь. И вот уже маститые врачи, лауреаты всех на свете премий, на потребу наследникам и в несомненном расчете на долю изобрели новое психическое расстройство — секторальную деменцию.

Мол, старикан вроде бы и нормальный, соображает, как и год назад, и два, и три, и читает, и даты помнит, и в отчетности разбирается — а вот собственностью управлять уже не может. Именно в этом секторе деятельности у него мозги как раз и отказали. Стало быть, пора по суду отбирать право финансовой подписи.

Как инкубаторные принялись плодиться лойеры, которые на основании самых незначительных оговорок и описок могли как дважды два доказать, что пациент секторально недееспособен.

В ответ, естественно, начали плодиться лойеры, которые на основании тех же самых медицинских показателей могли как дважды два доказать, что пациент вполне дееспособен.

Слушать их словесные дуэли в судах было одно удовольствие. Поэмы. Доходы и тех, и других росли соответственно. Лойерам тоже хотелось жить вечно. И, разумеется, комфортно. Потребление било рекорды, экономические показатели распухали, как на дрожжах. ВВП зашкаливал повсеместно. Смертным, правда, почти ничего не доставалось. У них-то доходы не росли. Яркими упаковками были завалены все шопы, бутики и прочие лабазы, приходи, покупай. Только не на что. С каждой распродажи по больницам развозили десятки искалеченных.

А мне суждено оказалось сделаться вечным задарма. Просто за то, что жил правильно.

Но бессмертие само по себе — это еще не вечная молодость.

Ничего. Прорвемся. Когда-нибудь я заработаю на все приложения.

Как весело все начиналось! Солнечное, раздольное время... Все они красавцы, все они поэты. Ежедневные шумные застолья, вольнолюбивый треп до рассвета в прокуренных кухнях, насмешливое презрение к окончательно впавшей в маразм власти — и предвкушение славы в мире куда лучшем, чем тот, где родились, и упование своим талантом, и несокрушимая, маниакальная надежда на что-то такое... огромное, лучезарное... непременно обязанное случиться. И гитарные перезвоны, лиричные напевы... Не обещайте деве юной любви вечной на земле... Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз... Так незаметно, день за днем, жизнь пролетает... В молодости куда как сладко погрузиться о быстротечности времени и бренности бытия. Еще не страшно, но остроты восприятия добавляет. Я, бывало, тоже рифмовал. Смерть была хотя и за горами, но советским людям горы не преграда...

Кругом — духота, застой, лицемерие, карательная психиатрия, накрепко зашитые рты, повальная ложь сверху донизу и тотальная, нестерпимо унижительная несвобода... И мы. Дон Кихоты, Ланцелоты. Гулливеры в Лилипутии. Ум, честь и совесть эпохи. А скромность украшает только бездарей.

И ведь пробивались все, кто проявлял хоть чуточку упорства.

Пока сосу — надеюсь. Это как бы от лица младенца. Ха-ха-ха!

Отсель валить мы будем к шведу. Это как бы от лица Петра Первого, что основал Петербург исключительно для удобства драпа в сытую благополучную Скандинавию. Ха-ха-ха!

Никто, кроме нас — никого, кроме вас! Это как бы от лица дуболомов десантников с их хвастливым слоганом, с намеком на то, что опасность они представляют лишь для собственного гражданского населения. Ха-ха-ха!

Военные строятся поротно, а питаются повратно.

Добро должно быть с кулаками, а кулак должен быть с добром!

Тогда это все шло по линии юмора. И ведь печатали, показывали по ящику, смеялись. А ты-то понимал, что плюешь им в хари, и они хохочут потому, что им нравится размазывать по собственным харям твои плевки. Такими они рождены, и так они

воспитаны. И можно было по праву ощущать себя высшей расой. Светочами в темном царстве. Единственно свободными людьми в стране рабов... Платили, конечно, гроши, но ведь и жизнь была дешевой, как и полагается рабской жизни, в которой деньги и вещи почти отсутствуют и мало чего стоят, обмен идет иным. На портвейн и на цветы для красавиц хватало. А от них отбою не было. Восхищенно хлопали ресницами, помнили шутки и монологи наизусть, потом тебя же тебе и цитировали в твоей же постели... Видимо, вскрикивая в момент оргазма, а потом, в прельстительно и незащищенно накинутых на голые плечики незастегнутых мужских рубашках разбалтывая в чужих кухнях новомодную растворяшку, тоже ощущали принадлежность к тем, кто единственно свободен.

А ведь в ту пору если девушка тебе давала вот так, с восторгом и ни за что, это действительно много значило. Душу значило. Подарок значило. Не то что нынче, в эпоху контрацепции, пренатального скрининга, равноправия гендерных ориентаций и доступной с детства сети, раздувшейся от порнухи. Нынче будто ссудили друг другу крупные суммы и теперь ожидают с процентами, и счетчик уже включен. Или самоутвердились каждый за счет другого. Или весело и полезно для здоровья немножко сыграли во что-то вроде пинг-понга, с шутками и прибаутками.

Впрочем, когда тебе в последний раз давала девушка, старый ты хрыч?

Ничего. Прорвемся...

Ни одного имени уже не помню. Как распирало от самодовольства, помню, как мнил, что по моим талантам мне так и положено, помню... помню топ-топ-топ босыми пяточками по полу: ты кофе сладкий пьешь или без сахара? А вот имен их...

Все они давно умерли.

Ну и что? Они не заслужили, а я заслужил.

Потому что я — носитель культуры.

Да, поначалу просто хихикали. Дальше — больше.

В этой стране не осталось нормальных людей, потому что выжить могли только стукачи да вертухаи.

Откуда тогда мы взяли, такие замечательные?

Неважно. Даже в голову не приходило об этом задуматься. Красиво же сказано.

В России одна половина сидела, другая охраняла.

Кто тогда воевал? Кто конструировал, кто строил?

А известно кто. Штрафбаты, шарашки и зэки, и весь сказ.

И пошло-поехало... Международные премии за гражданское мужество и широту мышления, гранты от фондов распространения и поддержки демократии...

Мелодично сыграл свои простенькие ноты визит-контроль. Медовый голос консьержа произнес из-под потолка:

— К вам гость.

Наконец-то.

— Впустить, — сказал я.

Кресла я расставил заранее, одно напротив другого. Сел поудобнее. Начал улыбаться.

Все равно болит.

Он вошел. Тоже с приветливой улыбкой. Я гостеприимно встал и сделал шаг ему навстречу.

Мы пожали друг другу руки.

Давненько не виделись...

— Давненько не виделись, — сказал я, жестом предлагая ему сесть. Он уселся, закинул ногу на ногу.

— Мы стараемся пореже вас беспокоить, — сказал он.

Ой, не лги царю. Прошлое тонет все глубже, и нужда во мне возникает все реже. Чтобы этого не понимать, надо быть круглым идиотом, а я не идиот.

— Кофе? — спросил я.

— Не откажусь.

— Коньяк?

— Я за рулем.

— Без шофера? С чего вдруг?

— Иногда приятно самому.

Время неотесанных бесцеремонных братков давно миновало. Гость мог бы сойти за университетского декана. За директора театра.

Во времена ударных строек коммунизма в КГБ это называлось «куратор».

Теперь... Шут его знает, как это назвать теперь. Наверное, работодатель.

Менеджер по ассортименту.

Раньше о материальном положении человека можно было почти однозначно судить по одежде. Нынче этот признак легко мог обмануть. Зато сами человечьи стати сделались железной характеристикой. Судя по почти нечеловеческой ширине плеч гостя, по цвету атласной кожи его лица, немыслимому в новом климате, по тому, как объемисто топорщились брюки у него в паху, можно было с уверенностью сказать, что его счет в банке измеряется числом, где цифр не меньше, чем букв в каком-нибудь идиотском советском сокращении, типа Ленмашэлектробытприбор.

Одним — гнилые объедки, другим — ствольные клетки...

Приподняв ленивчик, я набрал код кофе. Едва слышно прогудела гиперварка, и чашка, распространяя дивный аромат, мягко выплыла наружу. Гость торопливо поднялся.

— Не вставайте, я сам возьму. Мне кажется, вам нездоровится.

Тонкий намек.

Во времена моей молодости говорили: тонкий намек на толстые обстоятельства.

Неужели я так отвратительно выгляжу? Неужели боль у меня на лице написана? Плохо. Теряю товарный вид.

— Я вас надолго не задержу, — предупредительно сказал гость, идя с чашкой в руке обратно к своему креслу. Втянул воздух носом. Изобразил на лице наслаждение пополам с восхищением. — Вы научили свою машинку готовить великолепный напиток, — сказал он. — Честно скажу: такой кофе мне доводится пить только у вас.

— Заезжайте почаще, — рискнул предложить я.

Он улыбнулся, давая понять, что оценил шутку.

— Свобода творчества свята. Мы просим вас о помощи только в самых исключительных случаях...

Я решил не тянуть.

— Судя по всему, сейчас как раз такой случай?

Он вновь уселся. Отхлебнул глоточек. Кивнул.

— Да. Именно такой.

Ладно. Не буду давить. Больше он вопросов от меня не дождется. Когда захочет — тогда сам скажет. А мне как бы наплевать.

Хотя не исключено, это стучится ко мне в жизнь гонорар, который позволит закончить с болью.

Он несколько раз неторопливо пригубил, потом понял, что я решил молчать и ждать. И легко с этим смирился. Собственно, что ему... В таких мелочах он вполне мог позволить себе пойти у меня на поводу. Мелочи ведь ничего не меняли, ничего не значили.

— Конечно, страшилками про СССР сейчас уже мало кого испугаешь, — неторопливо сказал он. Будто учитель, начавший объяснять элементарную истину дебилу. — И все же любое лыко в строку. Подспудное неприятие некоторых перемен то и дело принимает форму какой-то... даже не ностальгии, какая уж ностальгия, если, кроме вас, реальную советскую жизнь никто не помнит... какой-то смутной дурацкой мечты о том, чего никогда не было, но якобы могло со временем случиться, если бы история пошла иначе.

— Мечта прекрасная, еще неясная, — не утерпел я.

Он явно не узнал цитаты.

— Может быть, — равнодушно сказал он. Снова пригубил. Одной рукой он аккуратно держал изящное блюдечко на уровне груди, другой брал изящную чашечку и подносил ко рту, потом вновь ставил. Все это было так мирно, так патриархально... Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди.

— Вы новости смотрите? — спросил он.

— Когда как, — осторожно ответил я.

— В Думу наконец-то внесен законопроект о поголовной чипизации детей с четырех лет. Все цивилизованное человечество давно так живет, и только наши опять артачились. Но теперь им не отвертеться, придется голосовать. Тут уж любая помощь будет в цене. Кошка за Жучку, Жучка за внучку... — он улыбнулся.

Вот оно что.

— Нужно вспомнить какой-нибудь свежий, незатасканный эффектный ужастик, — сказал он. — Ну, скажем, в СССР партийные руководители на завтрак ели детей. Или что-то в таком роде...

— Но это же неправда.

— Неужто это будет ваша первая неправда? — беззлобно парировал он.

Я смолчал.

— Это не ложь, а всего лишь небольшое преувеличение, — мягко сказал он. — Не вы ли сами писали: обожравшееся человечиною государство...

— Это была метафора! — резко ответил я.

— А также гиперболы, — сказал он. — А также парабола.

Умолк.

Я не отвечал.

— В конце концов, — сказал он, поняв, что я опять принялся играть в молчанку, — если о чем-то много мнений, правда — это то мнение, за которое больше платят. Конечно, всегда хочется получать деньги за свое собственное мнение. Но так получается далеко не всегда.

— Это ведь чушь, — сказал я. — Никто не поверит.

— Вам поверят, — ответил он. — Вы последний человек, который родился еще в СССР. Никого больше не осталось. У вас есть определенное реноме. Определенный имидж. Кстати, мы помогли вам его наработать, если помните. И у вас есть умение убеждать. Талант. Вы опытный пропагандист...

— Я не пропагандист, — сказал я. — Я художник.

Он чуть улыбнулся.

— Художники все в Лувре, — сказал он.

Конечно, он не мог помнить глумливой большевистской фразы «Господа все в Париже». Я и сам-то знал ее лишь по черно-белым фильмам о первых годах советской власти, что смотрел в раннем детстве. Но в воздухе носятся не только новые идеи. В нем висят еще и архетипы. Комиссары никуда не делись, и поэтому их ключевые фразы никуда не деваются, воспроизводятся с легкими вариациями из поколения в поколение словно бы сами собой...

Как это было в «Короле Лире»?

Колесо судьбы свершило свой оборот.

— Оплата немедленно по выполнению, — сказал он наконец главное.

— Сколько? — не удержался я.

Ненавижу себя.

Он сказал.

Желудок, осатаневший от боли, завопил: мне! Мне!

— Я подумаю, — сказал я. Надеюсь, голос у меня не дрожал.

— Подумайте, — ответил он и встал. Небрежно сунул чашечку с блюдечком в приемную нишу машины. — Только постарайтесь не затягивать. Прием записи в режиме ожидания. Стэнд-бай. Как только — так сразу.

— Я понял, — примирительно ответил я. И даже заставил себя добавить: — Рад был встрече.

Он улыбнулся и молча протянул мне руку. И я молча ее пожал.

Тем временем на улице стемнело. Подойдя к окну, я проводил взглядом маслянисто лоснящуюся крышу и габаритные огни его глайдера, беззвучно скользнувшие в черноту, полную летящей воды. Всё. Уехал.

Значит, законопроект уже внесли...

Мотивировалось все это в высшей степени пристойно: положительным опытом мирового сообщества, требованиями безопасности, оптимизацией образовательных методик...

Разумеется, службы спасения были за. Ребенок со вживленным информационно-коммуникационным чипом никогда, дескать, не сможет потеряться. И никогда не будет похищен. Сигнал чипа отслеживается спутниками круглосуточно с точностью всяко не больше метра. А то, что, когда дети подрастут, о любом взрослом тоже можно будет в каждую секунду знать, где он, — что ж, издержки. И в смысле борьбы с мировым терроризмом весьма даже полезные. Европейцы вон уж сколько лет видны на мониторах собственных спецслужб в виде разноцветных огонечков, все поголовно, и стар и млад. И ничего, живут. Оказалось, свободы это не нарушает. Даже разговора о свободе не мешает. Иди куда хочешь, делай что хочешь и с кем хочешь, ничего не возбраняется, просто все видно, а при соответствующей санкции правоохранительных органов — даже и слышно. Но, в конце концов, честным людям скрывать нечего. А если кто-то нелегально подключится к каналу и выкачает чьи-то личные данные — это подсудное дело: до трех лет. Другое дело — как такое подключение обнаружить да потом еще доказать... Но это уже не дело законодателей. Правда, хакеры уже научились вливать ложные координаты, если украсть приспичило не на шутку; скажем, похищенную шестилетнюю девочку, победительницу детского конкурса красоты «Юная Марианна», по сигналам искали в Провансе, а она, изнасилованная пятерыми педофилами из знатных семей, помирала совсем даже в центре Парижа. Но имитация координат тоже подсудное дело: до десяти лет.

Школьные учителя тоже были за. С них, как, впрочем, и с родителей, снималась огромная доля ответственности. Средний уровень грамотности первоклашек неуклонно снижался, а их общий уровень и подавно; рос только уровень агрессивности. С ними просто не о чем было разговаривать, их невозможно было учить, они не знали, что буквы и цифры — это не одно и то же, что Земля крутится вокруг Солнца, что Европа и Америка — это не только ночные клубы или торговые центры, а еще и континенты, и — самое ужасное — не верили, когда им это пытались втолковать, и резко, упрямо возражали; они умели только быть неколебимо уверены в себе, отстаивать свою независимость и убивать на дисплеях хоть кого-нибудь. Никто из них никогда не начинал рассказывать о своих мечтах словами: «Я вырасту и ста-

ну....» Уж не так важно кем — бизнесменом, космонавтом, врачом, летчиком, пожарным... Писателем... Хотя бы вообще — хотел бы кем-то стать! Но нет. Всякий рассказ начинался словами: «Я вырасту, получу много денег и...» Вживленный чип предполагал обязательный пакет из четырех бесплатных программ: воспитательной «Мы все хорошие», природоведческой «Славная жизнь какашки», общеобразовательной «Учись считать рублики» и просветительской «Мальчики, девочки и все-все-все»; за плату число каналов можно было, разумеется, увеличивать, сколько душевненьке угодно, но эти четыре шли простым приложением. Конечно, ясно было, что этак вот ребенка можно без ведома родителей накачать чем угодно (да потом и взрослого тоже) — но, опять-таки, это издержки. Если накачка окажется противоправной или тем более нелегальной, то, опять-таки, издержки подсудные.

Во всяком случае, реформа действительно облегчила бы подтягивание мелких хоть к какой-то стандартной образовательной норме. То, что таким образом будет полностью и окончательно искоренена всякая вероятность появления детей выше нормы, умнее, мотивированнее, любознательнее, порядочнее нормы — уже мало кого волновало. Не до грибов, Петька, не до грибов. Все цивилизованное человечество так живет, зачем нам в очередной раз открывать велосипед?

И так далее, и так далее...

А ведь проголосуют, подумал я.

Теперь все на крючках.

Помню, где-то в начале века я еще удивлялся, когда стало выясняться: в коррупционных схемах оказываются замешаны и министры, и директора банков, и даже — звучит-то как! — инфанты. Французский премьер, кандидат в президенты США, один из главных идеологов компартии Китая... Казалось бы, этим-то чего не хватало?

Потом понял: финансовые правила столь противоречивы, финансовые механизмы столь изощренны, а экономика столь сложна, столь велико в ней количество инстанций разной степени законопослушности, по которым, причудливо извиваясь, текут длинные, как глисты, денежные потоки, что если всех и впрямь разложить по буквам закона, окажется — воруют все. Сверху донизу. По-крупному и по мелочи, в зависимости от уровня. И как раз тем, у кого всего много, нужно всего еще больше, и еще, и еще, чтобы оставаться хотя бы на прежнем уровне. Как у Кэрролла: чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил.

И даже необязательно воруют нарочно — просто в любом доходе всегда есть «грязная» доля. Самые наивные про нее даже не подозревают, и когда их берут за шкуру — искренне удивляются. Другие, поумнее, делают все от них зависящее, чтобы эта доля росла и плодоносила.

Прирост мирового ВВП поддерживается только за счет надбавки к реально произведенным стоимостям и реально заработанным деньгам того навару, что возникает в результате финансовых махинаций просто из воздуха и растекается по капиллярам экономики из бесчисленных артерий глобального жульничества, обдиралова и распила. Если каким-то чудом некий бог, царь или герой вдруг прекратит это безобразие — мировая экономика, в одночасье рухнув, сразу сделается чем-то вроде жалкой, убудочной, всегда дефицитной, вечно задыхающейся советской.

Между прочим, в какой-то момент наши опять, как частенько в России бывало, попытались пойти против мирового тренда и сдуру начали было робко, неуклюже, конвульсивно, совершенно не понимая, к чему это может привести, и впрямь бороться с коррупцией. Да и оппозиция этого громогласно требовала: мол, долой коррумпированную власть! Но как только кого-то и впрямь хватали, именно благодаря оппозиции сразу выяснялось, что вот этот-то как раз и не вор, а прогрессивный противник

режима, или великий, нестандартно мыслящий художник, или защитник прав человека, так что преследование лишь рядится в одежды экономического, а на самом-то деле происходит по сугубо политическим мотивам. Так что его-то трогать никак нельзя, а непременно надо кого-то другого. И поскольку искоренять ворье реально были настроены лишь те, кто по старинке и по недомыслию еще хотел какой-то, шут его знает какой, пользы для этой страны, а не искоренять — все лучшие люди плюс все мировое сообщество... Да плюс вековая окаянная привычка любых здешних властей задабривать чужих, а на своих ехать и погонять, свесив ноги, потому что свои и так никуда не денутся... Понятно, кто в этой борьбе победил.

И поэтому если кого-то понадобится посадить — то всегда пожалуйста. Любого. Безо всякого террора, безо всякой ежовщины, безо всяких измен Родине... Честно-благородно. За казнокрадство. За нецелевое использование средств. За неуплату налогов. Это же общемировая практика, везде так; и в Европе, и в Америке. Неприкосновенных нет — и народы рукоплещут. Что при демократии и требуется.

Так что попробуй не проголосуй, как надо.

И тем не менее сомнения в успехе и массовой поддержке, видимо, были. А в такой момент совсем не вредно напомнить трудящимся, что как бы худо или, по крайней мере, сомнительно ни становилось сейчас, при Совдепе все равно было гораздо хуже. Стало быть, как ни крути, прогресс налицо, так что все было и есть не зря. А то напридумывали легенд... И черпают в них непокорство, вновь и вновь подпитываясь вредной иллюзией, будто тому, что творится, возможна какая-то альтернатива.

Но как же от всего этого тошно...

И как болит.

Ладно. Я, что называется, подумаю об этом завтра. Сейчас — обезболивающее, которым страшновато злоупотреблять, но без которого не уснуть... И ароматного чайку. Чайку, пожалуйста... Я потянулся к ленивчику.

Краем глаза я увидел какое-то движение у двери. Сердце запрыгало, как брошенный на лед карась, в глазах мотнулась короткая слепота. Я никого уже не ждал, и визит-контроль не издавал ни звука. В приоткрывшуюся дверь просунулась рука и мазнула воздух, точно малярной кистью, тусклым раструбом какого-то прибора. Я не специалист и не сразу узнал стоящий на вооружении спецслужб высокочастотный излучатель, вырубаящий камеры слежения.

Видимо, считая, что обезопасил себя, в дверь вошел незнакомый мне человек. За ним еще один. Завороженно замерев, я следил. Такого просто не могло быть.

Это оказались довольно молодые парни. Дюжие, но вида нездорового, с угреватой, пятнистой кожей, редкими бессильными волосами... Когда один из них успокоительно улыбнулся мне, я увидел плохие, желтые с гнильцой зубы.

Смертные.

С оружием.

Не успев стереть с лица мимолетную улыбку, пущенную мне как знак мирных намерений, первый парень приложил палец к губам, а потом сделал знак стволом автомата: мол, пошли. Хорошо ему махать своей железякой. У меня ноги обмякли так, что с кресла было не встать. Дыхание будто заткнули забухшей пробкой. Черт возьми, я все же старый человек. Бессмертие и вечная молодость — не одно и то же.

Гнилозубый выждал несколько мгновений, а потом повторил свой жест уже резче, настойчивей. Но по-прежнему молча. Что они, прослушки бояться? Наивные...

— Что происходит? — сипло спросил я.

Гнилозубый, яростно оскалившись, стукнул себя кулаком по голове: кретин, мол. И уже без обиняков наставил на меня ствол.

Пришлось кое-как встать.

А потом пойти.

Проходя через первый этаж, я отметил погасшие огоньки консьержа. Поди ж ты, отключили каким-то чудом. Надо будет устроить хорошую головомойку фирме-поставщику. Там клятвенно заверяли, что система стопроцентно надежна. Техника... Вот уж воистину: на каждую гайку найдется свой болт.

Потом я сообразил: о возмущенных разборках с фирмой думать ох как рано. Еще неизвестно, чем все это кончится. Поворот жизни проявлялся в сознании неторопливо, грузно, точно трансконтинентальный авиалайнер начал закладывать круг. Слишком уж неожиданным и внезапным был переход от спокойного, саркастически размыслительного сидения в одиночестве к этому... этой... тут даже не знаешь, как сказать.

У входа мокнул под дождем старенький обшарпанный глайдер. По залитой крыше барабанили капли и вскипали множественными фонтанчиками, мерцая в свете фонарей. Сама крыша блестела так, что почему-то напомнила мне кожаный плащ эсэсовца из какого-нибудь старого советского кино. Как разведчик разведчику: вы болван, Штюбинг! А вас, Штирлиц, я попрошу остаться... Черт знает какая чушь лезет в голову, когда тебя впервые в жизни похищают.

И насколько же я весь в прошлом.

Это и есть старость. Бессмертная старость. Что было вчера — не помню, что было семьдесят лет назад — помню, будто это было вчера...

Заднюю дверцу заблаговременно подняли. Я вопросительно глянул на гнилозубого. Тот кивнул: мол, да, ты понял правильно, лезь внутрь. Я влез. Продавленные сиденья были влажными от напитавшей воздух мороси. Гнилозубый пристроился рядом и ткнул мне в бок стволом; второй сел за руль. Дверца, негромко взвывая тягой, закрылась. Глайдер косо поднялся сантиметров на сорок и, то и дело припадая на бок и гулко, точно пустая коневная банка, скребя днищем по диамагнитному покрытию дороги, полетел сквозь ливень шут знает куда. Ведро с гайками. Похитители, мать их... Ствол автомата ощутимо давил в бок.

Летели недолго. Честно говоря, я приготовился к худшему и уже начал было гадать, покинем ли мы город, въедем ли в какой-нибудь дремучий лес, придется ли мне, нагибаясь в три погибели, лезть в сырой подземный схрон каких-нибудь террористов — но тут глайдер, немощно вихляясь и дребезжа компрессорами, зарулил в один из дворов какой-то промзоны и остановился у ворот огромного мятого ангара, по закругленным жестяным стенам которого, гулко гремя, струились потоки воды.

Вошли.

В ангаре едва тлело дежурное освещение. Полукружьем возле стоящих вплотную двух стульев сидели на цементном полу, на поставленных на попу пустых ящиках, на грудях упаковочного пластика человек с полста. Сколько можно было понять — в основном молодых; впрочем, лица их белели смутными пятнами, а задних и вовсе было не разглядеть; так, очертания. Тени.

Гнилозубый показал мне на один из стульев. Я, решив ничему не удивляться — а что бы изменилось, если б я принял удивляться или упрямиться? — уселся. Тогда он повесил автомат на спинку второго стула и сел рядом со мной. Второй из моих сопровождающих скинул куртку и опустился прямо на пол напротив нас, можно сказать — в первом ряду. Под курткой он оказался гол по пояс. Мускулистый торс с какой-то жутковатой вдавлиной на правом боку был словно заплеван татуировками.

Я выжидательно посмотрел на гнилозубого.

Он кашлянул, и оказалось, что он стесняется. Искоса он глянул на меня.

— Простите, — проговорил он, — что мы были такие бесцеремонные. Не наша вина. Мы хотели поговорить с вами так, чтобы это было безопасно и для вас, и для нас тоже. Вот тут можно говорить откровенно.

— А у меня дома нельзя? — спросил я.

— Вам ли не знать, что нельзя, — ответил он. — Вы же как на ладони. Мы давно уж хотели с вами встретиться. Но только сегодня у нас получилось вырубить вашего сторожа, да и то ненадолго. Он, сволочь, сразу запустил самодиагностику и сейчас, наверно, уже вернулся в режим. Поэтому мы так торопились.

Похоже, он имел в виду консьержа. Я немного расслабился. Приключение, однако...

— Чем обязан? — светски спросил я и заложил ногу на ногу.

Сидевший рядом со мной гнилозубый замаялся, и вдруг нетерпеливо подал голос татуированный:

— Расскажите, как на самом деле было там.

— Где там? — спросил я, уже начиная понимать.

— В СССР, — с нелепым благоговением выговорила явно непривычную для ее рта аббревиатуру сидевшая рядом с татуированным девица; так когда-то мои одноклассники, только что прочитавшие «Дочь Монтесумы», выговаривали, скажем, «Теска-тлипока». Собственно, то, что это девица, можно было уяснить лишь по голосу. На ней была бесформенная, в пятнах, хламида, голова то ли обрита наголо, то ли облысела, и из черепа торчали изогнутые, с металлическим отливом рожки.

— Ах, вот оно что...

Я окончательно пришел в себя. Так это просто встреча с читателями, весело подумал я. Очередная, не первая и не последняя. Просто несколько экстравагантная. Даже любопытно.

Если бы только желудок не болел.

— Но, ребята, я практически все рассказывал и описывал уже не раз и не два, — сказал я, непроизвольно переходя на привычный, десятилетиями обкатанный тон выступления перед молодежной аудиторией. Так сказать, тон номер три. — Какие подробности вас интересуют?

— Нас не подробности интересуют, — ответил сидевший рядом со мной гнилозубый. — Нас вообще... На публике или для массовой информации, официально, вы действительно много говорили, мы перечитали всё не раз и не два. И переслушали... Но вот сейчас, когда никого, кроме нас, тут нет, ни ведущих ток-шоу, ни берущих интервью... Никого. Мы хотим узнать правду.

Ничего себе. Это что ж они себе навывдумывали, буйные головушки?

— Должен вас разочаровать, — сказал я, а сам подумал: не пристрелили бы они меня от разочарования.

Впрочем, я уже понимал прекрасно: ничего мне плохого не сделают. Наверное, и автомат-то у них игрушечный... Муляж. Пугач. А если даже и нет... Вон какие глаза, какие лица. Не иначе как откровения ждут.

В напряженной тишине чей-то вздох из глубины ангара прозвучал, будто шину спустили.

— Я всегда и говорил правду. И сейчас могу только повторить: это было отвратительное время и это была отвратительная страна. Нищая. Злобная. Милитаризованная насквозь. Раз и навсегда наплевавшая на свой народ, не говоря уж обо всех остальных. Мировое пугало. Заповедник доисторического рабства. По сути — огромный концлагерь. Унизительные пьяные очереди. Хамская уравниловка. И при том — узаконенное неравенство. Пустые полки магазинов для одних и избыточные распределители для других. Бесправие для одних и вседозволенность для других. Деградация искусства. Маразм власти. Физическое уничтожение несогласных. При-

нудительное единомыслие. Женщине моего друга присудили три года химии только за чтение «ГУЛАГа». После этой химии она больше не могла иметь детей!

— Гулага... — медленно, чуть ли не по слогам повторила лысая девица с металлическими рожками. Это слово ей явно ничего не говорило. — Но ведь она, наверное, знала, что это нельзя... Зачем же она читала этого Гулага?

— Потому что правды хотела! — рявкнул я, теряя терпение. — Мы все хотели правды, а это было нельзя! Вот как вы сейчас! Только вам можно, а нам было нельзя!

Молчание. Тишина.

— Черт возьми, — сказал я почти яростно. — Вам даже не представить, какой это был идиотизм. Нас с детства, с детского сада приучали ходить строем! Колоннами по двое! И кормили всех одинаковой дрянью, а кто отказывался есть, тех публично карали! Какие-нибудь морковные котлеты, которые и в рот-то взять тошно...

Наверное, блевотный вкус пережаренных на прогорклом масле морковных котлет — это мое первое сохранившееся воспоминание. Первая оставшаяся в сознании встреча со страной проживания. Первое значимое соприкосновение с реальностью.

Сколько мне было? Три? Четыре?

Детский сад. Советский детский сад, тюрьма для малолетних преступников, все преступление которых состоит в том, что они родились в стране победившего Октября. Я давлюсь, я не могу это есть. Меня заставляют. Когда меня начинает мутить, когда к горлу подкатывает тошнотворная сладковатая масса, которую не принимает желудок, я плююсь. Мне велят встать из-за веселенького зелененького пластмассового столика, за которым покорно давятся и не плюются еще трое таких же бедолаг, и на глазах у всей группы — одиннадцать одинаковых веселеньких столиков — ставят в угол. И там я снова плююсь, уже нарочно, из принципа. Все смотрят на меня, и никто не плюется, все только давятся.

Любые котлеты с тех пор мне кажутся пережаренными.

— В них были превышены нормы предельно допустимых концентраций? — сочувственно спросил кто-то из глубины.

— Не знаю, — после паузы ответил я.

Не о том они, не о том.

— От них умирали?

Как хочется ответить «да», чтобы до них дошло наконец!

Ненавижу себя. И в особенности — свою честность.

— Нет, — ответил я. — Иногда дристали только.

— Дристали, — нерешительно повторила рогатая девица. — Это вроде карциномы? Вот же дура.

Скоро в русском языке ни одного русского слова не останется.

— Нет, — сказал я. — Проходило само.

— А сколько эти котлеты стоили? — выкрикнули с задних рядов.

— Это было бесплатно, — сказал я, уже начиная понимать: они слышат в моих словах совсем не то, что я этими словами говорю.

— Бесплатно? — ахнули там.

Опять стало тихо.

Некоторое время я молчал, ожидая новых вопросов. Но вопросов не было.

— Я понял, — сказал потом татуированный. Обернулся к своим. — Я предупредал... — Потом опять посмотрел на меня. Уже с явной неприязнью. — Вы как все они.

— Кто они? — устало спросил я.

— Известно кто, — сказал он. — Меня только одно утешает. Вот мы все сдохнем...

И я буду смотреть сверху, как вы тут останетесь вечно мучиться в этом аду.

— Бога нет, — сказал я.

Он встал. Я напрягся. А если небрежно повешенный на спинку стула автомат все же настоящий? Да и без автомата... Вон какие кулачищи ему задарма, как во времена дикарей, прилетели от природы. Кожа в трещинах и лишаях, да, но сами-то... С мою голову размером.

Он навис надо мной и протянул руку. Не кулаком. Раскрытой ладонью.

— Замажемся? — спросил он.

Смешно. Кто и когда сможет проверить, я проспорил или он? Я без колебаний протянул ему свою ладонь. Гнилозубый молча разбил.

И тут холодок сомнения лизнул сердце. Стало жутковато.

Потом стало просто жутко.

Вечно мучиться этой болью... И порой ловить себя на опасливой мысли: а вдруг он все-таки смотрит?

Вечно. Всегда. В двадцать первом веке, в двадцать втором веке, в двадцать третьем... В двадцать четвертом... Никто уже не припомнит, что такое особые тройки, Хрусталеv — машину, ботинок в ООН или сиськи-масиськи. Никому дела не будет, кого звали Кремлевским Горцем, а кого Кукурузником, никто не засмеется, узнав, что за звук раздастся, если какого-то Брежнева треснуть рельсом по голове. Никто не сможет воскресить мысленным взглядом задумчивую девушку с гитарой посреди пепельной белой ночи, негромко поющую друзьям «Чтоб не пропасть поодиночке»... Уже никто. Ни единая живая душа. А у меня по-прежнему будет болеть желудок.

Ну нет. Дудки. Не будет.

— Вы хотели правды? — ледяным голосом спросил я. — Так вот вам правда. Про этот ваш СССР. Я никогда еще об этом не рассказывал, потому что очень уж мерзко. Партийные руководители начиная с определенного ранга на завтрак ели детей. Была у них такая привилегия. Младшеклассников в основном. Кто помягче, понежнее. Обкомовские холуи спозаранку ездили на черных «Волгах» и присматривались к идущим в школу ребятишкам. Кто понравится — хватать, и в багажник. И на кухню. А если родители пытались возражать, им говорили, что это необходимо для дела построения коммунизма. И родители умолкали, потому что советскому человеку ради построения коммунизма ничего было не жалко.

— Не может быть, — потрясенно выговорил сидевший рядом со мной гнилозубый.

Я резко обернулся к нему. Чуть не сорвался: «Кто здесь Ленин — ты или я?» Но он наверняка не знал этого анекдота. И я спросил просто:

— Кому лучше знать?

Он не ответил. У него затряслись губы. Я снова обернулся к залу.

— Только при Горбачеве стали вводить этот жуткий сталинский обычай в какие-то рамки. На кухню разрешалось отправлять лишь трудных подростков из неполных семей. И лишь Ельцин вообще положил этой позорной практике конец.

Все. Сделано.

Теперь тишина навалилась такая, что далекая дробь дождя едва ли не оглушала. Потом начала всхлипывать рогатая девица.

Гнилозубый тяжело поднялся.

— Я отвезу вас домой, — сказал он.

В правом верхнем углу поля зрения, почти не застилая реальность, бегущей строкой поползли, точно светящиеся муравьи по проторенной дорожке, ажурные буквоки уведомления: «Запись завершена успешно. На ваш счет перечислено...»

Стало легко-легко.

Я встал стремительно, как молодой. Отчаянно хотелось еще что-то назидательное сказать им напоследок. Чтобы знали свое место.

— Правда иногда ранит, — проговорил я с отеческой мягкостью. — Но все равно лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Никто не ответил.

Назад меня транспортировал один только гнилозубый. Никто уже не тыкал мне в бок автоматом. Сгорбившись, парень неторопливо вел свою колымагу по ночному городу и молчал. Он выглядел так, будто из него душу вынули.

Тут я сообразил, что не вижу на ветровом стекле капель. Похоже, дождь прервался. Это случилось теперь так редко, что грех было не воспользоваться. Когда я начал узнавать улицы неподалеку от дома, то попросил:

— Останови.

Гнилозубый мельком покосился на меня непонимающим взглядом, но послушно притормозил. Глайдер тяжеловесно просел, скрежетнув днищем по дороге.

— Дойду пешком, — сказал я. — Надо продышаться после такой встряски.

Коротко взвыла тяга, и дверца рядом со мной оттопырилась вверх. Я вышел наружу. И только тогда гнилозубый подал голос.

— Простите за беспокойство, — безжизненно выговорил он.

— Ничего, — сказал я. — Я понимаю. Тоже был молодой.

Воздух оказался промозглым и зябким. Я поднял воротник.

* * *

«Вчера поздно вечером на углу Горбачев-авеню и Третьей улицы Строителей был сбит популярный публицист и блогер, обычно выступающий под ником Последний Из СССР. Виновницей ДТП оказалась известная общественная деятельница, светская львица и ведущая ток-шоу „Всех в рот“, дочь владельца холдинга „Патриот-инвест“ Венера Доиш. Судя по показаниям свидетелей, она сильно превысила допустимую скорость и, как выяснилось позже, вообще была на год лишена прав после недавнего инцидента с ребенком на площади Свободы. Девушка попыталась скрыться с места происшествия, но была задержана оказавшимися поблизости прохожими, от которых ее спасла вовремя подоспевшая полиция. Пройти тест на алкоголь виновница происшествия отказалась. В настоящее время она отпущена под залог, величина которого не разглашается в интересах следствия. Что касается пострадавшего, то поскольку травмирование при дорожно-транспортных происшествиях не входит в перечень страховых случаев, предусмотренных услугой „Имморталити-лайт“, после первичной госпитализации лечебно-восстановительные мероприятия были отложены до внесения полной предоплаты. Пострадавший в сознании, но лишен способности самостоятельно передвигаться и практически не может говорить. Однако вот что незадолго до происшествия он успел рассказать о чудовищной жизни при тоталитарном советском режиме...»